

Неточка-Нетка

У КАТИ Ивановой была такая капризная, взбалмошная дочь, что просто невтерпёж.

«И в кого такая уродилась? – часто качала головой мать, полная, голубоглазая женщина, с мягким умиротворённым взглядом. – От кого прыть переняла, где язык наострила? Порой ведь так заершится, такое ввернёт, что взрослые краснеют...»

– Нет, нет, нет!.. – кричала Нетка излюбленную фразу в очередном капризе, косматила свою бедовую голову. – Не хочу, не буду! Сами вы укушенные!

И только Катя видела, сколько любви ко всему таило это маленькое сердчишко. Да ещё понимала девочку учительница и исподволь, стараясь не досаждать, воспитывала в ней умеренность.

Тогда закончился март. Снег таял, маслянистые ручьи несли вдоль поребриков мусор. Солнце ярко, до рези в глазах, освещало небесную синь и предметы, буйно сушило асфальт на задворках.

– Первый апрель – никому не верь! – шутили люди. Вороньё осуждающе каркало на чудной народ. И взрывы смеха над очередным простаком, попавшимся на удочку в этот день, сплугивали хрычстое племя с мокрых заборов.

В тот вечер в доме Ивановых Катя и бывшая портниха Лариса кроили платье для хозяйки. Под матерчатой люстрой

отмеряли, хрустко резали на столе ножницами, тихо переговаривались.

В сенцах на керогазе попевал чайник.

Нетка сидела с уроками в своём уголке и всё смотрела в окно, где столбовой фонарь высветил на чёрном стекле серебристые капли, будто после дождя. То грустила, то улыбалась...

Квёлая и вихлястая, с моргливыми ресницами, «модница Яиса», как звали соседку во дворе, щебетала Кате под руку о моднейших разрезах: те-те-те!..

Нетка улыбнулась вдруг, глянув на неё, губы девочки лукаво растянулись... Она отложила ручку и тихо выскользнула в сени, мелькнув в дверях штопаной пяткой.

Через секунду дверь распахнулась, и девочка закричала с порога, стараясь не глядеть на мать:

– Тётя Лариса, керогаз спых! Сени горят!

Бросив платье, Катя кинулась в сени. А когда вернулась, столкнувшись в дверях с соседкой, рванувшей было на помощь, дочь хлопала в ладоши и приговаривала:

– Первый апрель – никому не верь!

Как на массовке во Дворце пионеров. Только уголки губ её при виде лица матери как-то скорбно сбежали вниз...

А полная рука родительницы вцепилась увесистый подзатыльник:

– Мерзавка!..

Слёзы, выбитые затрещиной, враз облили скорченное обидой лицо.

– Нет, нет, нет! – с провизгом затопала девочка по полу. – Больно!.. За что? Я и так полусиротка, а ты меня бить! Отца-пьяницу из дома выжила, а теперь за дочь принялась! Как что – сразу лу-пит!.. А седни первое апреля – все обманывают. Не любишь ты меня совсем! Вот умру, тогда будете знать! И любить, и ласкать захочете, а локоть-то – вон он где!.. Вот увидите: затоплю печь, оставлю синие огоньки, закрою заслонку и умру-у!..

Соседка хлопала на девочку намалёванными глазами, и вдруг, засуетившись, исчезла.

А Катя с трудом уложила дочь в постель. И лишь через час, болезненно всхлипывая, словно простуженная, девочка уснула, так и не высказав прощения раскаянно успокаивающей матери.

Утром, чуть вешний свет, Катя ушла на работу. Нетка училась во вторую смену, осталась дома одна.

«Ну что за девка, что за девка! Просто беда ходячая... – сокрушалась Катя на работе, раскраивая меха под мягкий шум пластмассового вентилятора. – Тяжело придётся ей с таким-то характером, как повзрослеет. Ладно, сама не урод... Хара-актер!.. Что втемяшит в голову, то и отчебучит».

Вспомнилось, как ревела вчера надсадно. Как вдова беспросветная выла, голову запрокинув, глаза смежив. В кино, что ли, высмотрела? А про смерть-то что удумала!

И вдруг ясно представилось Кате: топит Нетка, дотапливает печь, повернула плачущее лицо от распахнутой настежь подтопки, где ядовито синеют, зазывно пляшут, как бесенята, угарные огоньки, и крикнула – хрипло, обиженно, с горьким злорадством:

– Вот умру – тогда будете знать!..

– Ой!.. – вдруг вскочила Катя. Что-то жарко, наискось полоснуло у неё в груди, и так муторно, тошненько стало, будто кубики какие в кошмарном сне не совпадают.

– Ой, бабыньки, Нетка!.. – бросила



лоскут, нож скорняжий и пошла, побрела меж рабочих столов, как пьяная в пивной.

На улице не разбирала дороги. Летела растрёпанная, со съехавшим на плечи платком, наскакивала на прохожих.

Трамвай не ждала: на трамвае быстрее, но не терпелось – всё бежала и бежала...

А перед глазами дочь: сидит у печи, обернула слюдянистое от слёз лицо в жутком отсвете углей, бросила:

– Вот умру...

«Ой, бабыньки!..» И, запрокинув голову, рвалась вперёд, вот-вот подкосится. Больно колото в боку...

Наконец, вот он, дом с прогнувшейся крышей. Торчит в кружке снега почерневшая труба.

«Не дай бог, дверь в сенях заперта», – думала, влетая в ворота, – не додумала, с ходу ударилась в тугую дверь: заперта! Больно вколачивала кулаки в осиновою поперечину...

Во дворе с вечера влажно припошило. Видны следы: взрослые, детские... В тапочках в дровяник косолапила. За дровами!..

Кровь, ударив в голову, отхлынула, и закололи в висках острые кинжальчики. Туго уперев кулак под ребро, в нестерпимую резь, будто круто подбоченясь, Катя прислонилась к косяку, вскинула голову: плыли в небе грязновато-серые тучки, где-то взрыдывал на цепи пёс...

Единственное в доме окно без решётки выходило из кухни в соседний сад, но там снегу присыпало по самую форточку.

Ключ!.. Старый ключ от сеней лежит в сарае, в ящике из-под инструментов. В распахнутом пальто волочилась туда, как подстреленная ворона. И вот он – поржавевший стержень с откидным носиком!

С ходу навалилась на дверь. Скре-

жетно царапала ключом в скважине, наконец зацепила, сильно, до боли в запястье, крутанула. Щёлкнув, вылетел стальной засов, дверь отпустила.

Кухня ощутимо обдала теплом. Зловеще торчала в трубе задвинутая заслонка.

Девочка, распластавшись навзничь, лежала на диване.

Показалось, что пахнет угаром!..

– Аня-а-а!.. – проклято затосковала Катя, бросившись к дочери.

Девочка испуганно вскинула голову и, увидев мать, зарыдала в голос, протянула руки. И Катя, обнимая дочь, ощущая и целуя пахучую голову, лицо, чувствовала, как та сиротливо жалась к ней, гибкая и тонкая, послушно-молчаливая. И показалось вдруг Кате, что вот эта хрупкая девочка, болезненная косточка на её руках, понимает ведь, зачем она, Катя, прибежала в этот неурочный час с работы – и от этого становилось страшно...

Но между тем ничего не случилось. Туманными глазами Катя видела перед собой проём окна, а на руках родимым пятнышком, единственным утешением в жизни светилось милое личико.

Женщина снова чувствовала себя счастливой матерью, как бывало, когда дочь-малютка, откричавшись миру вдоволь о себе, вдруг хватала горячим ртом с острыми дёсенками её грудь и, жадно причмокивая, тонюсенько сосала в себя молоко, возбуждая блаженное чувство вечного материнства.

«Нет, нет, Нетка, не думала ты об этом вовсе», – успокаивала себя Катя, а вслух повторяла хриплой скороговоркой, целуя дочь в тёплое солоноватое лицо:

– Как же ты, доченька, крепко-то спишь! А я вот соскучилась по тебе, так соскучилась, и прибежала вот, прибежала...

Рио-Рита

КОГДА исполняют «Рио-Риту», у Сергея Абдулыча в душе наворачивается слеза, скупая, послевоенная. Хотя он никогда не видел войны, родился, когда уже всё было отстроено. Но почему он так остро ощущал те годы? Будто сам только что вернулся с фронта, и ему жаль друзей, которые не могут слышать эту музыку, видеть женщин. А ещё под эту музыку, называемую в переводе «Небо над Парижем» (музыку ставил на московской даче сосед Абдулыча, звукорежиссёр, – а уж у звукорежиссёра то звук чист и пронзителен) – под эту музыку, отвернувшись через перила от гостей в сад, к неподвижным яблоням и мураве, он отчётливо видел деревянную площадку и танцующих родителей, жениха и невесту 1945 года.

Мать в цветастом сарафане, с изящными заколками у виска в чёрных вьющихся волосах и непременно в туфлях на белые носочки. А отец, конечно же, в военной гимнастёрке! Влюблённый, ошалевший сержант, с пилоткой, пропущенной под погоном... Потеряны братья и сестра. Он прошёл сквозь огонь, а она, выпускница школы, копала всю осень и зиму окопы на второй линии обороны, а после катала валенки для фронтовиков. Как же?! Всё кончено! А «Рио-Рита», такая пикантная, даже бесстыдная (да и чёрт с ним – ведь Победа!) предлагает счастливую жизнь!

Прошло и то время, когда Абдулыч подрос, чтоб дотянуться до клавиш радио «Восток», внутри которого люди покрикивали, лазили по мачтам кораблей, атаковали и Михаил Девятаев улетал на немецком самолёте с вражеского аэродрома. Абдулычу всё хотелось достать те корабли, посмотреть, наконец, на этих удивительных человечков, стреляющих, бастующих... Затем наступала суббота, и девушки хорошими голосами пели: «В субботу вечером, в субботу вечером!...» Становилось уютно на душе и радостно, что прошёл последний ра-



бочий день недели, завтра выходной, и родители днём будут дома. А в воскресенье поедут куда-нибудь в гости, родни была целая куча, и все фронтовики, – поедут в Караваево на деревянном трамвае, с двумя пересадками. Будут пить водку из графинов, закусывать куянами¹, а по пути домой, играя на баянах и аккордеонах, обязательно с кем-нибудь подерутся прямо в трамвае – куча гостей против кучи гостей. И отец будет дома говорить: «А хорошо я одному всыпал!» – «Драчуны, – скажет мать, – и ведь каждый раз дерутся». – «Та ладно! – отвернётся отец, – если бы не ты... Зачем за рубашку тянула? Из-за тебя вот!..» – упрекнёт, растирая у зеркала кровоподтёк под глазом. А завтра, встав в пять утра, все эти драчуны, по сути юнцы, недавно отстоявшие Родину, поедут на работу – стоять у станков, поднимать индустрию. И будет у них на всё про всё всего один день – воскресенье: и постирать, и на рынок сходить, и в гости съездить. И потому так любя эта передача «В субботу вечером».

– Тяжело, сынок, было, – скажет мать, уже старенькая. – Постирай-ка бельё! Колонки на улице нет, носила на коромысле через овраг. И в гололёд, и в грязь. С Центральной на Ново-Пугачёвскую, а сколько воды на вас четверых надо?! Отец оставался подрабатывать – денег не хватало.

– А зачем столько родила? – скажет Абдулыч.

– А жить-то хочешь! – сузит сиреневые глаза мать, и долго будет молчать, сердитая.

Затем расслабится, погладит себя по коленям.

– А я детей любила, легко вас рожала. Вылетали, как намащенные, – золотые какашки! Ты просился четвёртый. Отец уговаривал сделать аборт – не потянем. Я отказалась...

Абдулычу было неприятно осознавать, что он чуть не стал жертвой аборта. Мать оставила его – и не прогадала.

Дети быстро рассеялись, как щенячий приплод. Брат утонул малолетним, одна сестра уехала в Прибалтику и забыла о существовании родни, другая неизлечимо заболела – всё по больницам. Заботы о пожилых родителях легли на его плечи. Он приезжал мыть парализованного отца. Одна нога у него не сгибалась, торчала, как стрела крана, и стоило больших хитростей, чтобы вынуть его из ванной. Отец весил более ста килограммов, был велик ростом, приходилось нагибать выскальзывающее тело вниз головой, чтобы одеревеневшая нога, цепляя трубы, шланги, натянутые лесы для белья и занавески, описала в воздухе хитрую дугу и, сбивая повешенные тазы, забирая на флаг полотенце, вместились, наконец, у потолка в угол двери. Покрытого простыней, обтирал его Абдулыч с любовью. У отца при этом было детское выражение лица, послушно принимающего работу.

После двух инсультов Сергей был насторожен, приезжал каждый день, делал уколы, давал аспирин. Отцу стало легче. Абдулыч возражал, но мать кормила больного как на убой. Все женщины на его поселковой улочке становились благочинными при одрах больных супругов – и тётя Маша, и тётя Настя, и тётя Нюра, и ревностно следили за товарками. Так, тётя Маша, уже вдова, поведала как-то Абдулычу, что Нюра-то ходила с ревизией к Рыжовым, пенять Насте – мол, не так смотрит за Васей. Мать Абдулыча, как вирус в кармане передника, перевезла в новое место эту бабскую честь. Браво расправляя плечи, заходила к нему мужу. Ставила перед диваном стул, на подносе первое, второе и третье (хотя раньше кричала: «Клади себе сам! А не нравится – не жри!») И обязательно с улыбкой превосходства и снисхождения, будто с барской руки – рюмку водки! «Конечно, ты не подарок был. Но вот – выпей.

* Куян (тат.) – здесь: зайчатина.

Я добрая!» – стояла и с улыбкой глядела на беднягу, подбоченившись.

Родители всю жизнь, как и все местные, ссорились. Так было и в тот день. Отец о чём-то жаловался Абдулычу, мычал и плакал, показывая пальцем на жену. Абдулыч сам тогда повздорил со своей женщиной, никчёмной в общем-то бабой, сильно переживал, а тут канючил и канючил, как несносное дитя, батюшка. В конце концов, Сергей одёрнул его: «Хватит!» А потом, уезжая, лишь пожал своей большой пятернёй обе его руки, схваченные в пальцах (после окрика отец сидел на диване, сникший), пожал, не оборачиваясь, разговаривая с матерью, сказал «ну пока» и уехал.

Прежде такого не было никогда. Абдулыч знал, что значит два инсульта. Знал, что третий – смертельный, и каждый раз, уезжая, настраивался на прощание особо. Болтая чепуху, цепко схватывал глазами дорогое лицо, облекал в оберег – увозил с собой. И что-то подсказывало ему, что отец теперь в безопасности, отец в броне.

А тут засуетился, оставил без защиты, – и той же ночью, не дав опомниться, к Сергею в окно громко постучали...

Казалось, только тогда Абдулыч понял, как мать любила отца. Придя на другой день после похорон, он увидел в её глазах страшное сиротство. Она быстро вышла к нему из другой комнаты, одинокая, потерянная, и по её взгляду, по тому, как она разглядывала его, ощутил, что она рада не только сыну, но и тому, что сын в своём лице принёс ей живой портрет мужа, того, молодого...

Мать кормила сына, как и мужа, принося еду на подносе к дивану, где он лёжа читал.

– Да что ты, мам, я в кухне поем, – говорил он, отрываясь от книги. – А это зачем?

Указывал на стограммовую рюмку водки, глядя на мать. А та с довольной улыбкой стояла в отдалении, сложив на груди руки.

– Пусть! – говорила, – пусть будет, как у всех мужчин.

Абдулыч давно не пил и запах водки был ему неприятен. Но чтобы не обижать мать, лишь отодвигал гранёную рюмку в сторону.

Тогда грянул дефолт. Заработок Абдулыча, что лежал привлекательной кучкой, будто поела крыса и ушла, оставив труху. Как многие мужики, он выкатил свою «классику» и стал извозчиком. Работал по ночам. Иногда к нему садились по двое, по трое нехилых парней, то ли подвыпивших, то ли уколотых, называли адреса трущоб, спрашивали, какого года машина. Тогда часто сообщалось об убийствах таксистов. И, заезжая во мрак окраинных переулков, где стреляли и шла криминальная война, Абдулыч переживал, что «семёрка» у него новая и ожидал нападения.

На Профсоюзной, где останавливались бомбилы на перекур, каратист Сухов стоял посреди круга. Из коротких рукавов его клетчатой рубашки выпирали бицепсы и трицепсы, будто вшитые под кожу булки.

– Вози с собой шило, – говорил он, узя глаза, и лицо его становилось каменным. – Бей в лоб. В лобовую кость, в глаз! – Мощными и короткими тычками он заводил руку за голову, показывая, как это надо делать. – Шило возить слева. Обычно садятся двое, трое. Тот, что спереди, наваливается на руки, чтобы ты не подсунил пальцы под накиннутую удавку. Высвобождай левую и работай!

Бомбилы смотрели на Сухова угрюмо.

– Чего? – спрашивал Сухов, довольный молчанием. – Боитесь убить? А они – что хотят с вами сделать? Бей в глаз, в тупые мозги!

Абдулыч начал возить шило.

Однажды села семейная пара. Подвыпивший муж в конце пути вынул пятидесятирублёвую бумажку, свернул в трубочку и, забившись в угол, начал клоунничать:

– Видишь, денежка? А я не дам. Вот она!

– Перестань! – сказала жена. Милая на вид, пухленькая женщина, сделала лицо строгим.

Абдулыч смотрел в слабо освещённую темноту, вёл машину молча. Скандала ему не хотелось.

– Гляди, зелёная!..

– Отдай! – сказала жена, видно было, что она недолюбливает мужа.

Тот не обращал на неё внимания и продолжал кривляться.

Сергей остановил машину, опустил руки на руль, сказал миролюбиво:

– Парень, прошу тебя, не надо.

– Угу-гу-гу! Ты чокнутый, дядя...

– Парень, не надо, – выдавил Абдулыч уже страдая, он всё глядел на панель.

Парень был такого же сложения, как и Абдулыч. И если Абдулыч ему проигрывал, то лишь невыгодным возрастом, да заработанным за рулём радикалитом.

– Ну чё встал, топи! – не унимался парень, – гы-гы-гы!

Абдулыч вынул ключи зажигания, вылез из салона, обошёл машину, раскрыл пассажирскую дверь и попросил парня выйти, пройти за поребрик. Они встали друг перед другом на лужайке улицы Зорге; проезжающие автомобили освещали их фарами.

Вышла и прошла на газон и жена парня.

– Будешь платить?

– Ты чё – дурак? Я ж те сказал!..

Абдулыч левой схватил его правую руку, где потела купюра, а правой жёстко всадил в бороду. Тот сел. Но деньги не выпускал.

– Ты, когда работаешь, зарплату требуешь?.. Я тоже работаю... Покупаю бензин... Ремонтирую машину... Кормлю семью...

Каждую фразу он сопровождал коротким ударом, парень лёг, и кулак его начал разжиматься...

Абдулыч вырвал купюру, шагнул к машине... вдруг шагнул к женщине. У неё на глазах порвал пятидесятку в клочки. Сел в машину, погасил габариты – и «семёрка» взревела...

А на другой день, за неделю до отъезда в Москву, ехал тем же маршрутом

– по Гвардейской в сторону Даурской. Переехал мост и вдруг увидел в зеркале заднего вида: из-за выпуклого моста, как с трамплина, вылетают мощные иномарки. Впереди кортежа – две машины ГАИ, что-то кричат по громкой. Он убавил звук музыки и услышал: «Водитель синей «семёрки», прижаться вправо и остановиться!» Сергей ехал по левой стороне, вдоль разобранной трамвайной линии, и никому не мешал: улица была широка и на удивление свободна; выехавший со двора Абдулыч не знал, что всё давно перекрыто.

«Стоять!» – орали из летящего «Мерседеса» с работающими проблемными маячками.

– А пошёл ты! – Абдулыч тихо продолжал движение. Да и пересекать путь кортежу по диагонали, чтобы уйти, как требовали, вправо, – это риск быть сбитым, ведь они на своих тяжеловесах гнали под сто тридцать! Громкоговоритель ГАИ захлёбывался угрозой... и, улетаая вперёд, крикнул постам у очередного светофора: «Синюю «семёрку» оформить!». Кортеж, в машин двадцать, словно это были мировые гонки, промчался мимо, раскачивая обрывками вельможного ветра его машинешку.

На углу Даурской его остановили гаишники, забрали водительские права. Оказывается, везли дочь Ельцина на волжский правительственный пляж – «освятить её телом местные воды» – подумал Абдулыч.

– Что же вы не соблюдаете правила? – миролюбиво говорил лейтенант, оформляя бумаги в автомобиле. Сзади него, прячась от солнца в глубине салона, сидел ещё один офицер.

– Дорога была свободная, – ответил Абдулыч.

– Вы должны были уйти вправо и встать.

– Я чё – смерд? – сказал Абдулыч, сдерживая раздражение, – стоять и дрожать?

– Ну вот и поплатились: полгода будете без прав, – сказал лейтенант; он был из районного ГАИ, и не особо сетовал – приказали из президентско-

го сопровождения «оформить», вот и оформляет.

Абдулыч понимал, что лишился заработка на полгода. Негодование, вызванное ещё в машине словом «стоять!», наполняло душу, и он едва сдерживался.

– Знаете что, товарищ лейтенант, – сказал он. – Вы уж извините... Может, вы человек хороший. Но я вам скажу: *я никогда не «встану»*. Повезут ещё раз – опять не «встану».

– Ну ещё раз лишат.

– Пусть, но я – не холоп! Я вырос не в этой стране. Я в СССР воспитывался...

– Ну тихо, тихо! – предупредил лейтенант, – у нас – пишет. Сдадим в ФСБ.

– Она моего ногтя не стоит! – качнулся на сидении Абдулыч.

– Кто «она»? – вдруг спросил капитан, сидевший сзади.

– Ублюдина, которую провезли... благодаря которой случился дефолт, благодаря которой я остался без средств, без работы и вынужден жить на чужбине.

– Вам мало полгода? – сказал лейтенант.

– Начхать теперь уже...

– Всё, идите, – лейтенант начал укладывать бумаги в планшетку.

Абдулыч вышел из автомобиля. У него кружилась голова от потрясения, и он не мог сосредоточиться – забыл, в какой стороне стояла его машина. Наконец увидел перекрёсток и шагнул в ту сторону... А его фамилию кто-то неоднократно выкрикивал... Он обернулся: из гаишного авто, где он только что сидел, приоткрыв дверь и высунувшись, кричал лейтенант:

– Завтра зайдите в Вахитовское ГИБДД, 2-й кабинет!

– А чё там ещё делать? – со скончанным лицом, враз ссутулившийся, отмахнулся Абдулыч.

– Если не хотите, чтоб на год лишили...

Идти в ГИБДД Абдулыч даже не собирался. На самом деле – что там ещё делать?

Ехал домой как обворованный.

Но утром ноги сами повели в районное отделение.

Единственный коридор учреждения пустовал. Не то что в городском ГИБДД, где толпами кишели автомобилисты. Кабинет № 2 – крашенная синей краской дверь – находился прямо перед входом. Абдулыч слегка стукнул костяшками пальцев о фанеру, приоткрыл дверь и увидел вчерашнего капитана. Теперь тот сидел за столом, и Абдулыч мог его разглядеть: примерно одних с ним лет, погоны обветшалые, судя по возрасту – полжизни в этом чине, и потому нет интереса пришивать новенькие; лицо капитана показалось даже знакомым.

Офицер потянулся к каким-то бумагам, взял, пододвинул к краю стола.

– Вот подпишите... Здесь и здесь.

Сергей не глядя подписал.

Капитан оторвал бланк, протянул:

– Идите в банк, тут, за углом, заплатите и чек принесите сюда.

Абдулыч глянул: в бланке значился штраф... на восемьдесят рублей! В те годы штраф минимальный.

Он обратил непонимающий взгляд на офицера...

– Быстрее, – сказал тот, не поднимая глаз, – через двадцать минут мне ехать.

Когда Сергей получил права и, от растерянности забыв поблагодарить, шагнул к выходу, схватил ручку двери, но вдруг обернулся – и чёрт знает что было написано на его лице!.. капитан закричал:

– Уходите быстрее!

Он стал жить на подмосковной даче возле местечка Чёрная Грязь. Говорят, Екатерина II, путешествуя из Петербурга в Москву, выходила здесь из кареты на горшок и, увидев торфяную жижу, воскликнула: «Ах, какая чёрная грязь!» Отсюда, мол, и название.

Почвы в тех местах действительно пучинисты, разухабисты поймы рек. Если рыть котлован для дома, в него сразу проступит вода, как в днище разошедшей лодки. В котловане мож-

но купаться, а если махнуть рукой, из разочарованья, из лени, или если тебя подстрелят, то в память о тебе останется дикий пруд, зарастёт камышом. И станут в той прозрачной воде плавать лягушки, изящно раздвигая длинные, как у акселераторок в мальдивском бассейне, ноги. Мальчик наловит в соседнем водоёме пескарей, перенесёт в бейсболке и выпустит в пруд – на разводку. Чтоб на следующий год рыбачить прямо с огорода и выудить ту самую рыбку, а может, даст бог, и леща! – ведь неисповедимы ходы подземных ключей, сообщающихся с океаном! Ведь возьмёшь здесь в руки геологоразведочные веточки или проволоку, шаг шагнёшь – так и закрутятся, как сумасшедшие: копай колодец здесь, можешь там, – богат будешь пресной водой! Той самой, за которую в пустынях обещали пленниц, верблюдов, коней!

Абдулыч привёз на новое место рыболовные снасти. Но не рыбачил. Иногда поднимался на чердак, раскладывал бамбуковые удилища, очень старые, с пожелтевшей лесой и ржавыми крючками, на которых ещё угадывались останки навозного червя. Вспоминал рыбалку в высоких резиновых сапогах, которые вдруг сплющит вода, будто ударит сом, в садке на траве – разинутые в муке рыбы рты, предсмертные рыбы крики...

Зимой, когда долго нет снега – до января, а мороз губит всё живое на земле и под землёй, лёд на мелких прудах взбухает, упираясь о дно. Становится выпуклым, как стекло лупы. Плющит обратной стороной о дно и плотву, и растения. Котлован же, вырытый под дом, глубже, – не оставит далёким палеонтологам скелеты отпечатанных особей, кроме ржавых узоров на пластах серой глины, – то ли от сгнившей сетки-рабицы, то ли от кольчуг загнанных в пойму и утопленных близ столицы ратей. И долбят рыбаки пешней лёд на огородах, сверлят буром – и сидят, сидят у своих крылец, будто на великих реках...

Такими рождественскими утрами в валенках и тулупе он располагался на

высоком крыльце с чашкой кофе в ладонях, жмурился и цедил коричневую кровь тропиков. Запах щекотал, как веточкой, ноздри. Лес гостем входил к нему на двор берёзами и наряженной в честь Нового года ёлкой, которые он посадил. Среди них берёзка – ровесница дому: копая фундамент, увидел кустик величиной с травинку, ковырнул, бережно отнёс в ладонях в сторонку, усадил в ямку, примял и каждый год обрывал вокруг буйную поросль... И вот выросла красавица!

Первые месяцы лета были знойными и колючими. Но ласкал август, тихий и мягкий, с чуть вянущей листвой, словно зрелая роскошная женщина с лёгкой проседью. Соседи уже снимали в парниках помидоры. Ночи становились прохладными. За лугом, на той стороне речки, как батальоны, притаились туманы и готовы были выдвинуться к пойме.

По утрам Абдулыч обматывался полотенцем и шёл к купели, сложенной из брусьев. Опускаясь в ледяную воду, смотрел на лягушек, раскачивающихся на дощечках, нарочно брошенных, чтобы они сидели на них, как моряки в утлых лодках. Прежде лягушки его пугались, ошалело бросались в стороны и, растягивая ляжки, уползали в щели. Теперь мало обращали на него внимание, жмурясь, поглядывали, как он окунался, и, кажется, даже испытывали наслаждение от усилившейся качки. Взяв дощечку, он катал их по глади купели, и они не возражали.

Звукорежиссёр Коля тогда сломал ногу, лодыжку, её загипсовали. Как раз у него гостила мать, ещё прочная женщина 83 лет. Коля, полулёжа на диване, стал командиром для всех домашних и гостей. Маршальским жезлом были костыли, которые лежали у него на груди. Из присутствующих больше всех суетилась его матушка, только и ловила глазами, что хочет её 60-летний мальчик.

И глядя на это, Сергей вспоминал о своей матери. А когда играли «Рио-Риту», невольно отворачивался в сад, в полутьме различал мураву под яблоней – и опять ему виделись в танце двое

влюблённых, прошедших войну, – сержант и стройная девушка с густыми волосами на плечах.

«Наверное, опять поёт в одиночку и вяжет мне оранжевые варежки», – думал он.

Мать распускала всё, что привозила ей из поношенных вещей родня.

– Да ты с ума сошла! – говорил Абдулыч по приезде, когда она показывала ему огромный красный берет с петлёй и помпошками на макушке.

– А что? – вскидывала брови. – Как раз в бане париться. Примерь уж!

Она стала вовсе старенькая, ростом ему по грудь, вся седая, сухонькая. Сидела на диване, сверкая спицами, и о чём-нибудь рассказывала.

– Вот слушай дальше. Закончил он гражданскую в чине офицера. Я маленькая была. Помню, он сушил на завалинке свою полковничью шинель, папаху. Сапоги пропитывал печной сажей. Дёготь не любил.

– Он у нас, – улыбался Абдулыч, – кажется, поручиком был.

– Сначала – да, поручиком, – говорила невозмутимо, – выполнял поручения царя. Это когда охранял его в Ялте. Они по Чёрному морю на лодке катались. У-ух! Тридцать три гребца! Все в папах, а погоны!.. – Мать вскидывала и крепенько сжимала в воздухе кулачок. – Как жар горели! Те гребли, а папа сидел возле царя. Я там была, в Ялте-то. Это в каком году?.. В 62-м! Они гребут, а папа – управляющий. Рулём управляет. Царь любил, когда папа пел. Лодка летит, качается. А папа поёт: «И княжну свою бросает в набегавшую волну». Тогда у царя дочка родилась. Не дочка, а не знай кто. То ли лягушка, то ещё что, – мать принагнулась над вязанием, сощурилась, будто что-то в прошлом разглядывала. – Царь велел её запаковать в бочку и сбросить с горы. И вот они бочку законопатили и там, в Ялте (там гора большая есть), катят! Все тридцать три человека. Бочка подпрыгивает на кочках, люди бегут за ней, кричат и подталкивают. А папа отказался катить бочку. Царь увидел это и говорит:

«Ты зачем, Исхак, отказался?» – «А я, – говорит, – не могу ребёнка убить. Пусть даже это не дитя, а лягушка» Царь и говорит: «Добрый ты человек, Исхак!» – И подарил ему за это золотую саблю. Вот отец её с Гражданской и привёз. Я всё с кисточкой играла. Привяжу её к волосам и бегаю, как царевна.

Эх, сынок, не знаешь ты, какой у тебя дед был! Глаза синие, усы чёрные! Недаром у него две жены было, жили в разных половинках, роды друг у друга принимали. Мама была младше отца на двадцать лет. А потом у нас всё отняли, даже посуду, отца посадили. У меня ведь, сынок, ещё два брата сводных было, погибли во время войны.

Абдулыч любил слушать её рассказы, уютно было на душе, хорошо.

В те годы, странное дело, мать, заканчивая какой-нибудь разговор, как бы между прочим произносила: «Гафу ит, улым» («Прости, сынок»).

Сначала Абдулыч на это внимания не обращал. Но подобное стало повторяться часто.

Поправит перед уходом его кашне, стряхнёт пылинку с пальто. «Прости, сынок» – скажет и уйдёт на кухню, опустив голову.

Абдулыч, человек от природы тактичный и стеснительный в таких ситуациях, ни о чём не спрашивал. Может, это глубокая материнская тайна. Но сам мучился. Что она имела в виду? Может, всё же хотела сделать аборт, но врачи сказали, что поздно. Может, они с отцом жалели, что утонул не он, а старший сын, очень красивый и кроткий? А может, просто желала ему смерти, когда он крепко пьянствовал? Ведь мать соседа-алкоголика, доведённая до отчаянья, кричала тому в лицо: «Хоть бы ты умер! Поплакала бы, похоронила, не мучилась бы так».

И только через несколько лет, как бы шутя, он спросил у матери об этом прощении.

– А? – оборвала она. – Ничего я не просила! – И ушла на кухню.

Лишь потом до него стало доходить, что, возможно, это обыкновенное чув-

ство материнской вины: прости, сынок, что я твоя мать, прости, что я есть, прости, что есть ты, за всё прости...

Когда он уезжал в Подмоскovie, на неё находило сущее горе. Тяготилась сознанием, что вот остаётся, а сын вынужден отбыть на чужбину, где-то трудиться...

В дорогу она пекла ему перемячи, пироги, на рынке покупала разноцветные полотенца, красивые чашки. Перед поездом, несмотря на то, что он уже попрощался, обнял и крепко зафиксировал – сохранил её до будущей встречи, выходила провожать. В темноте всё плелась и плелась – до самой Даурской. И когда он переходил улицу, отходил дальше, где удобней поймать такси, всё стояла. Возможно, уже не различая его силуэт в темноте. Абдулыч знал, о чём она думала...

В тот август он не выходил на Даурскую, отъезжал от подъезда на своей машине. Мать норовила засунуть в салон вещи, от которых он ещё дома отказался. Пока он возился в багажнике, незаметно запихивала в салон.

– Ну, ё-моё, мама!

Он вытаскивал ненужную сумку обратно.

– Тогда, сынок, одеяло возьми. – Она прижимала к груди шерстяное покрывало. – Вдруг в лесу ночевать будете.

– Не открывай дверь, собака выбежит.

Раскачивая салон, в машине грохотала на прохожих овчарка, а при открытии двери норовил убежать оглушённый его басом кот...

Сергей отнял у матери сумки и, строгий, уже уставший что-либо доказывать, сложил на бетонную балку у въезда во двор.

– Ну как это?! – недоумевала мать, и, будто из воздуха, по волшебству, в руках у неё оказалась авоська с яблоками.

– Знаешь что, мама!.. Голову моришь. Я забуду что-нибудь важное!

Он опять собрал вещи, сложил у неё на груди, взял за плечи, развернул и жёстко отвел её к подъезду. По-сыновьи требовательно сказал – иди! Когда держал за плечи и вёл, она как-то испугалась, три шага скоро просеменила... а он, не попрощавшись, быстро, как убегают от канючащих детей, подбежал к машине, сел и уехал...

Он забыл попрощаться.

Как и с отцом.

Его будто усыпили – и это сделала мать, сама в те минуты будто заколдованная...

А потом, 23 августа, на рассвете его разбудил сотрясающий вселенную мобильный...

С тех пор прошло уже пять лет.

Пять лет Абдулыч жил круглым сиротой.

В смерти родителей винил только себя. По ночам, глядя в темноту, слёз набухших не вытирал. И шептал себе в наказание – с каждой строкой всё остервенелее, всё злее:

**И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!**

10 августа, 2012